

Русское
интеллектуальное наследие

«ЧЕЛОВЕК БЕЗ КАВЫЧЕК»
И «ДЖЕНТЛЬМЕН С НАСМЕШЛИВОЙ ФИЗИОНОМИЕЙ»
В «ХРУСТАЛЬНОМ ДВОРЦЕ»
(о неопубликованной книге А.А. Борового «Достоевский»)
Часть I

П.В. РЯБОВ

В начале XX в. в мире нарастает интерес к творчеству Федора Михайловича Достоевского. Приходит понимание, что оно содержит – если не ответы, то ключевые вопросы современности, и что Достоевский был не только писателем, но и философом, без обращения к которому осмысление катастрофического опыта настоящего невозможно. Выходят важнейшие труды о Достоевском: Л.И. Шестова, Н.А. Бердяева, В.В. Розанова, Н.О. Лосского, Д.С. Мережковского, М.М. Бахтина... Растущее экзистенциальное течение в философии вдохновляется его творчеством.

Однако в СССР на эти дискуссии влияла идеология формирующегося тоталитаризма, начавшая поход против «реакционного» писателя и «достоевщины». К нему обращались, в основном, религиозные мыслители, оказавшиеся в эмиграции. Партийные надзиратели за культурой обличали Достоевского, создав образ клерикального и антиреволюционного, полузапретного писателя (этот карикатурный образ – с обратным оценивающим знаком – оказался весьма востребован ныне).

Что до авторов социалистических, но далеких от большевизма, то они относились к творчеству писателя безразлично-прохладно. Народник, властитель дум многих читателей Н.К. Михайловский называл его «психиатрическим талантом», укоряя за увлечение «эксцентрическими идеями и патологическими явлениями»¹. Позиция П.А. Кропоткина была сходной: «У Достоевского страницы высокого реализма переплетаются самыми фантастическими эпизодами или страницами самых искусственных теоретических споров и разговоров, в которых автор изложил свои собственные сомнения», а его герои «страдают какой-либо психической болезнью или являются жертвой нравственной извращенности»². Такой уровень понимания философии Достоевского характерен для большинства анархических авторов начала XX в.

На этом фоне резко выделяется растущий с годами интерес к мысли Достоевского у Алексея Алексеевича Борового (1875 – 1935) – наиболее значительного анархического философа России первой трети XX в.³ Выступив против официозных стереотипов в отношении писателя и против недооценки его философии своими единомышленниками, Боровой сделал его мысли (наряду с идеями А. Бергсона, М.А. Бакунина, М. Штирнера, Ф. Ницше) важной частью идейного синтеза по превращению анархизма в полнокровное современное мировоззрение. Последние 15 лет своей жизни Боровой отчасти посвятил созданию фундаменталь-

ного труда о писателе. Книга «Достоевский», не опубликованная до сих пор, находится в фонде Борового в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ, Ф.1023. Оп. 1. Д. 113).

Как возник у анархиста интерес к писателю? В юности Алексей не сразу понял и принял его книги. Как он признается в мемуарах (тоже неизданных до сих пор): «Достоевский. В гимназические годы я почти не знал его... Казалось все — сложным, запутанным, тяжелым. Но вот уже студентом читаю популярную книжечку С. Андреевского, потом известную работу Вольтынского. И я впервые приник к “Карамазовым” и “Бесам”. С тех пор я никогда не отходил от Достоевского. Я затруднился бы сказать — по сколько раз я читал “Карамазовых”, “Идиота”, “Бесов”, “Записки из подполья”, “Зимние заметки”... “Карамазовых”, наверное, прочел с начала до конца не менее двадцати раз. И Достоевский незримо, незаметно для меня самого, сыграл в образовании моего мировоззрения — исключительную роль. Много, разумеется, в студенческие годы оставалось для меня непонятым. Много было не по плечу. От многого я отталкивался моим политическим сознанием. Но я не мог не волноваться, чувствуя повсюду в Достоевском — разлившуюся стихию бунта. Логика, не отступавшая ни перед каким решением, сердце, не боявшееся никаких концов, все — циклопичное, неодолимое, как жизнь, подавляли меня величием, трагизмом. Ну что, что я, юнец — мог противопоставить — “Легенде о великом Инквизиторе”, “кошмарам Ивана Карамазова”, насмешкам джентльмена из “Записок из подполья”, богоборчеству Кириллова... В моей неопытной душе они плодили великий и чудесный хаос. Все голоса жизненной симфонии по очереди рождали во мне отклик. Припоминаю, что книга Розанова и прекрасные статьи Булгакова, особенно в части истолкования чёрта, уяснили мне многое и поставили на более сознательный путь социально-психологических раскопок в Достоевском»⁴.

Описывая свою эволюцию в эмиграции во Франции в 1911 — 1913 гг., Боровой снова упоминает о Достоевском: «Мое ницшеанское прошлое, зревшее анархическое чувство, страстное увлечение Достоевским, скрябинизм, бергсонизм, увлечение теорией и практикой революционного синдикализма, в неотделимом и неразличимом симбиозе их влияний, разлагали мой не критический оптимизм и слагали во мне новые клеточки — трагического мировоззрения»⁵.

Ссылки на Достоевского нередки в мемуарах А.А. Борового⁶, которые посвящены «Пушкину, Достоевскому, Бакунину, Скрябину», поскольку, как он пишет, «то, что дано было высказать или совершить названным мыслителям — для меня есть наиболее оригинальное и полное выражение “человечности”». У всех них сильны «восторг перед жизнью, вера в безграничную силу человеческого творчества... Таково же и мое мироощущение»⁷.

Мемуарист сжато излагал мысли о Достоевском, подробнее развитые в книге о нем: «Достоевский — глубочайший мыслитель в истории мысли... Его неистовства, плевки, проклятия — уложили в исповедание, наклеили ярлыки, обслуживали штампами... Но слишком рано его окаменели. Достоевского мир еще не перешагнул. Проблемы Достоевского вопят и

будут вопить еще и в более совершенных формах исторического существования... Сильнейшего утверждения человека, его права на жизнь, права на бунт против страданий, смерти, морального счетоводства, не дал никто... Достоевского надлежит брать — не в шелухе отдельных высказываний, а в неугасимом бунтарстве, в восторге перед силой человеческого сердца, в утверждении народной правды, мирового братства, нового человека, свободного от мещанства и насильничества... Достоевский был бесспорно пророком — революции... Достоевскому я посвятил целое исследование, доселе еще не увидевшее света»⁸.

Боровой часто писал о Достоевском в дневнике, однако отмечал, что «подпольные» мотивы творчества писателя, «надрывы» его героев (что, собственно, именовали «достоевщиной») ему чужды. Декадентство было вовсе не его стихией. В ссылке в Вятке 16 декабря 1930 г. он писал: «Бодлеровские цветы зла, подполье и бездны Достоевского — лишь исторически созвучны мне... Конечно, “Я” — это неистовое жизнелюбие, беспокойство, страсть, экстаз, неустанное “я есмь”. И верно, мой Достоевский — не Достоевский подполья, но Д[остоевский] Мити Карамазова, Д[остоевский] неудержных эмоций, как бы ни были они подстрижены извне культурой и ранней утратой наивности»⁹. 10 февраля 1931 г.: «К закатному Солнцу и косым мирам Достоевского. Это — не мое Солнце... Оно мучило, убивало меня. Мое Солнце — открытое, радостное, слепящее. Оно гонит темноту, неясное, неопределенное, зовет к жизни, бодрости, играм, деятельности...»¹⁰

Подводя в дневнике итоги своему любовному роману в Вятке, Боровой избирает для этого литературную форму ночного диалога между собой и... своим чёртом¹¹. Этот «чёрт» (собеседник Ивана Карамазова) — трезвая и беспощадная часть души Борового, — явно позаимствован у Достоевского. «Себя» анархист отождествляет с чувством, а чёрта в себе — с рациональностью и логикой. К образу чёрта в «Братьях Карамазовых» Боровой обращался не раз, истолковывая его как олицетворение пошлости и парализующего волю скептицизма¹².

Вот один из примеров того, как образы Достоевского становятся органичной частью мира Борового.

Часто, размышляя о Достоевском, философ сравнивал его с Горьким — и не в пользу главного писателя СССР. Боровой смело упрекал Горького в «благонамеренном выхолащивании» Достоевского и в «несчастном увлечении доктринерскими ярлычками»¹³. Такое сравнение двух классиков мы встречаем в книге «Разговоры о живом и мертвом»: «Где более подлинной революции — революции, поднимающей “Я” сверху донизу, требующей от него совершенной нравств[енной] свободы, все сметающей с пути его творч[еского] осознания — у Д[остоевского] с его никогда непримиренн[ыми] фауст[овскими] проблемами, с исканием живого действительного Бога, требованием всех и каждого к ответу за все зло в мире, с его почти [больной — зачеркнуто] судорожной любовью к “народу” — или у Г[орького] с его партийн[ым] догматизмом, отпуском обывателю совести по плечу, в меру “нездоровых нерв”, с боязнью его, что на бесах успокоится дремлющая совесть российск[ого] обывателя. О, смердяковщина! Не открыть в “Бесах” ничего, кроме пасквиля на

“левых”. В Достоевском усмотреть — “усыпителя” обывательской совести. Да разве не мешанство это — в самом потрясающем его выражении... проблемы Д[остоевского] — самые тяжелые ответствен[ные] пробл[емы], с которыми приходится считаться человеку с перв[ых] дней его исторического существования... Пророк и мелкий бес. У одного — Голгофа, распинание себя и других, хождение по срывам и безднам во имя высшей правды, у другого — благодное успокоение во имя обрезанной “истины” и плоского утверждения соц[иальной] гигиены¹⁴.

В «Разговорах о живом и мертвом» много отсылок к Достоевскому¹⁵. Этот труд, так и не завершённый, писался параллельно с «Достоевским» (1913 — 1930-е), став отчасти источником материалов для последней книги Борового. Помимо упоминаний о Достоевском в мемуарах, дневниках, статьях, Алексей Алексеевич Боровой посвятил писателю и ряд отдельных работ. В 1920 — 1921 гг. он выступил с публичными лекциями об «Анархических элементах в мировоззрении Достоевского»: «Из публичных выступлений перед широкой аудиторией в это время я помню три и считаю их удачнейшими за всю мою ораторскую жизнь: «Достоевский» (в Политехническом музее), «Бакунин» и участие в юбилейном вечере максималистов, посвященном П.Л. Лаврову¹⁶. В апреле 1923 г. он принял участие в разгоревшемся споре о том, был ли Бакунин прототипом Ставрогина в «Бесах», выступив с докладом, в котором настаивал на «полярности типов» Бакунина и Ставрогина. Главные оппоненты — литературовед Леонид Гроссман и историк Вячеслав Полонский (к чьей позиции был близок Боровой) предложили ему напечатать его доклад в их сборнике¹⁷, но почему-то этого не случилось. 24 февраля 1931 г. Боровой, прочитав в «Литературной газете» отрывок из романа Л. Гроссмана «Достоевский», резко отозвался в дневнике о романе и его авторе¹⁸. 5 февраля 1932 г., он писал уже о В. Полонском: «Его полемика с Гроссманом (Бакунин — Ставрогин) была очень любопытна, п[отому] ч[то] в ней столкнулись два махровых гешефтмахера от литературы. Гроссман, впрочем, еще более легкомысленный и крикливый. Полонскому было нетрудно побивать его дешевые сенсации. Мое выступление против Гроссмана в Доме Печати было сильным. Вера Фигнер была очень довольна. И первоначально Полонский предлагал мне участвовать в общей книге с ним и с Гроссманом... Позже Полонский искусно сманеврировал и книга явилась без меня»¹⁹. А в 1925 г. Боровой и его товарищ Отверженный (Н.Г. Булычёв) издали в анархо-синдикалистском издательстве «Голос Труда» совместную книгу «Миф о Бакунине» против версии о Бакунине как о прототипе Ставрогина. Очерк Борового из этого сборника «Бакунин в “Бесах”»²⁰ впоследствии был целиком включен в «Достоевского». Вскоре в том же издательстве вышла книга Отверженного «Штирнер и Достоевский»²¹ с предисловием Борового. На этом фоне шла работа Борового над «Достоевским». О том, как это происходило, поведал автор в предисловии к труду²².

«Это предисловие по счету — третье и, думается, последнее.

Первое было написано в апреле 1922 г. Книга о Достоевском выросла из юбилейных публичных лекций и невольно хранила, да, вероятно, хранит еще теперь следы своего происхождения.

Рукопись была направлена в Ленинград издательству “Голос Труда”²³. В дороге она была похищена. Черновика не было. “Волнуясь и спеша”, в короткий срок, я восстановил рукопись по памяти.

Потом возникли затруднения с цензурой. Меня квалифицировали как мистика, хотя все, кто имеет представление о моей научно-общественной деятельности, знают, что такое звание менее всего пригодно для моей характеристики. В частности, к “мистическому анархизму” эпохи 1906 – 1907 гг. и к его эпигонам я относился всегда резко отрицательно. В 1928 – 1929 гг. я вел борьбу против “мистиков” – ренегатов анархизма, не только в Москве, но и на страницах западной анархической печати²⁴.

Годы книга лежала под спудом. Я вернулся к ней почти через десяток лет в 1930 г. За это время выросла новая литература о Достоевском. Пришлось заново пересмотреть и переконструировать целые отделы моей книги.

И все же... Эта книга неполно и несовершенно передает то, что я хотел и мог бы сказать о Достоевском. Я не успел или не сумел сообщить ей заостренности, живой в моем сердце и у меня нет надежд вернуться когда-нибудь к возможности еще говорить о нем.

Если всякая критическая книга есть неизбежно и книга о себе, особенно следует сказать о книге, трактующей о Достоевском. Гигантский размах его мысли, волнующая страстность, неистощимое правдолюбие, готовность к бою до конца – исключают возможность “объективного” отношения к его творению. Кто говорит о Достоевском, говорит важное и о себе.

Но как могло случиться, что я – революционер, анархист – обратился к Достоевскому? Как и чем он мне так близок, что сказать “свое” о нем стало для меня пламенной мечтой?

Как будто, ничто в системе его философских и социально-политических воззрений, не является “моим”. Ни – “Христос”, ни “Русский Социализм”, ни “Народ”, ни тем более несвободные от фетишизма взгляды на власть, государственность и суд.

Но... творение Достоевского, в целом, сам Достоевский – остаются для меня живым, убеждающим единством. Самые антиномии мысли и дела Достоевского свидетельствуют о глубокой жизненности их.

В них я нашел и “мое”: диалектическое мышление, стихия “бунта”, примат “жизни” над “разумом”, утверждение личности, стремление к всемирному единству.

Не раз меня останавливали сомнения. Если великое творение Достоевского не отвело от него тяжелых и позорных обвинений в “реакционности” и “мракобесии” со стороны тех, с кем с молодых лет я был связан общим характером революционных воззрений, что может сделать моя скромная, хоть и восторженная, конечно, апологетическая книга?

И все же желание добиться – справедливости было сильнее. Мне казалось, моя книга может быть толчком к пересмотру “Достоевского”, к “реабилитации” его творения. Заблуждения Достоевского, соответственно масштабам его гения, могут быть огромными, но чистота его намерений не может быть оспорена, а сила морального “бунта” превзойдена...

Алексей Боровой. Вятка. Октябрь 1931 г.»²⁵

Итак, осенью 1931 г. Боровой завершил (как он полагал) работу над уже третьим вариантом книги (365 страниц машинописного текста). Однако и этот вариант остался принципиально незавершаемым (как жизнь, как свобода, как личность). Боровой продолжал свой заочный диалог с Достоевским, уточнял свои высказывания. В вятской, а потом во владимирской ссылке — и до самой смерти в ноябре 1935 г. он непрерывно дорабатывал свой труд: это видно как по множеству рукописных исправлений и вставных листов, составляющих треть всего текста (многие листы «Достоевского» — обороты бланков Владимирского городского коммунального треста; значит, этот труд дописывался автором во Владимире в 1932 — 1935 гг., одновременно с воспоминаниями, тоже часто написанными на оборотах бланков), так и по ссылкам на разнообразные книги и статьи, вышедшие в 1931 — 1935 гг. Судя по дневникам анархиста, в годы ссылки (1928 — 1935) он прочитал несколько сотен книг по русской истории и культуре XIX в., многие из которых были использованы в «Достоевском». Чаще всего Боровой не объяснял мотивов чтения им книг (ограничиваясь их анализом в дневнике, где очень редко вспоминал о своей работе над «Достоевским»). Исключение: запись 14 сентября 1929 г.: «Для Дост[ое]в[с]к[о]го — пересмотрел, а местами и перечел «Ист[орию] русск[ой] интеллиг[енции] Овсяннико-Куликовского»²⁶. По всем этим причинам текст существенно отличается от заявленного в оглавлении.

В своем третьем варианте книга писалась Алексеем Алексеевичем явно без надежды на публикацию и, значит, без особой оглядки на цензуру. В «Достоевском», как и в мемуарах, он придерживался одной тактики в отношении возможных цензоров: говорить *не все*, что он думает (ограничиваясь намеками и умолчаниями), но никогда не говорить то, чего он *не* думает. Порой он ритуально именует взгляды Достоевского «мелкобуржуазными» и «объективно реакционными» (откровенно посмеиваясь над благонамеренными читателями), но чаще приводит высказывания писателя, прямо разящие по большевистской реальности, никак не комментируя их и позволяя читателю самому оценить их смысл.

Таким образом, «Достоевский» Борового создавался на протяжении 15 лет и, отразив путь мыслителя от философии жизни к экзистенциально ориентированному мышлению²⁷, вобрал в себя, вместе с мемуарами, мысли наиболее зрелого периода его творчества. Если в периоды своей высочайшей активности как оратора и писателя (в 1906 — 1907 и 1917 — 1920 гг.) Боровой из-за спешки, не успевая дописать свои книги, издавал их «сырыми», то в ссылке, на пороге вечности, он имел время подвести итоги, обращаясь к будущим поколениям читателей. Впрочем, сам автор сдержанно оценивал свою книгу. 15 мая 1932 г. он записал в дневнике: «Кончил Достоевского. Доволен им умеренно. Это — больше я, чем он»²⁸. 13 ноября 1932 г. он констатировал: «Сильней всего меня пригибает мое “безделье”. Что сделал я в Вятке? Привел в порядок моего “Достоевского”, в общем меня удовлетворяющего — не более»²⁹. А 14 декабря 1934 г. во Владимире Боровой зачитал вступление к мемуарам некоему Т., и тот отметил, «”что Достоевский прёт”, по сравнению с остальным. Верю и к сему есть мотивы», — признал Алексей Алексеевич³⁰.

Очевидны цели книги: защитить философию Достоевского от ложных нападок и подвести итоги философским исканиям Борового. По-

рой в текст врываются прямые отсылки к современности. Указав, что «в людях в критическую минуту животная природа начинала говорить столь сильно, что падал высокий дух, и жалкое тело готово было купить себе спасение ценой унижений, отказа от подвига, даже предательства своих идей и идейных братьев», автор отмечал в сноске: «Иллюстраций можно было бы подыскать немало хотя бы в политических процессах современности»³¹. Учитывая начатую в СССР кампанию травли «достоевщины» и традиционное для анархистов равнодушие к наследию писателя³², само обращение к его философии было актом сопротивления и интеллектуального мужества.

Хотя книга представляет собой солидное исследование, опираясь на безбрежный океан изученной автором литературы (включающей книги Достоевского, его черновики, письма, статьи, дневники, а также воспоминания, переписку его современников и сотни исследований о нем: Розанова, Соловьева, Шестова, Бердяева, Луначарского, Волоцкого, Гроссмана, Бахтина и многих других) — это не столько академический труд, сколько памфлет, лирическая поэма и, прежде всего, самостоятельное философское произведение, вдохновленное Достоевским. Боровой не только стремится проникнуть в мир писателя, но в свободной манере эссе развивает, уточняет, актуализирует «свое» в нем и аккуратно дистанцируется от «чужого». Колоссальные знания о Достоевском для него лишь предпосылка любовного и заинтересованного понимания. Труд Боровой посвящен Достоевскому в подлинном, глубоком смысле: он пытается раскрыть его внутреннюю жизнь, боль, проблемы, мучившие Федора Михайловича, его искания — всегда удивительно тактично, тонко и уважительно. Яркий пример полемики Борового в защиту Достоевского от клеветы: приведя оценку писателя, данную критиком Н. Бродским, Боровой саркастически восклицал: «Экий вздор и какой — клеветнический вздор! Большого искажения облика Достоевского нельзя придумать. Пусть ненавистник Чернышевского, пусть враг социализма, но... мракобес, но... лжец, но... трус! «Завуалированная» — у Достоевского! — борьба, ведь это же просто — неумный, невежественный выпад, диктуемый уже не пафосом борьбы, а фанатизмом — тупым, ничего не различающим, ничего не желающим понять... Но Достоевский не жил, не мог жить рецептами храброго и правдивого Бродского, потому, что они отталкивались его нравственным сознанием»³³. Боровой демонстрирует не только самобытность мысли, но и виртуозную герменевтику: двигаясь по кругу от эпохи Достоевского к его личности и наоборот, и от творений Достоевского к фигуре творца и обратно, через вчувствование в его «творческие стихии». Для него его герой — не мертвые и застывшие «измы», оторванные от человека, но музыкальные «лейтмотивы» и «устремленность» — нечто неуловимое, становящееся, не сводимое ни к чему и не расчленимое.

Оригинальность философа состоит в том, что он не ограничивается фиксацией и оценкой «позиции» писателя и коллекционированием его высказываний, а идет в рассмотрении вопроса вглубь — от Буквы к Духу, от эмпирики к метафизике и психологии, от выразимого (внешнего, застывшего, набора «ответов») к невяному и сокрытому (внутреннему, к

вопросам и мотивам). Так, размышляя о том, был ли Достоевский «революционером» или «реакционером», Боровой обращается к вопросу: **а что такое «реакция» и «революция»?** «Достоевский был глубок и сложен. И на привычный аршин его мерить — невозможно. Его диалектика, подввергавшая равно обстрелу — и насильнический квиетизм реакции и насильнический динамизм революции, по существу, не была воспринята ни той, ни другой стороной». «В романах своих Достоевский посягал также на власть, церковь, помещика, чиновника, как и на каноны революции. Его “сознание” всегда было “свободным”»³⁴. Он не навешивает герою ярлыки извне, а стремится понять его изнутри. И если уж судит его, то не по привнесенным извне идеологическим правилам, а по его же собственным. Этот плодотворный подход позволяет «деконструировать» (говоря по-современному) стереотипы в отношении писателя. Боровой не устает высмеивать клишированный взгляд на Достоевского: с одной стороны, он «прислужник царизма», но, с другой стороны, «защитник униженных и оскорбленных». Также смешны ему попытки «расташить» писателя на части, говорить о его измене своим принципам: «Противоречивость Достоевского — противоречивость субстанциональная, а не дефект логики или измена убеждениям. В существе своих стремлений Достоевский оставался верен себе в течение всей жизни... Он — всегда в “искании” и в “становлении”»³⁵. По верной мысли Борового, быть «верным себе» — значит быть верным своим вопросам, своему Пути, а не застывшим позициям, самоопределяться через самоисхождение (*экзистенцию*, хотя он и не использовал это слово). «Можно ли у него искать простоты, целостности, верности себе? Себе — которому себе? — Когда “Я” волнуется, движется, растет, ни на минуту не может — не хочет остаться собой или только собой. Нормативная этика была не для него»³⁶. Это — подход романтика, постигающего сокровенную «душу души», «музыку музыки», гераклитов «огонь» в объективированных вещах и текстах.

Отвечая всем, журившим писателя за «нездоровый интерес к психопатологиям», Боровой писал: «Но решать вопрос о человеке во всем его объеме, о всех судьбах его — настоящих и грядущих, говорить о том — как возможен человек и отмести при решении этом — то нездоровое, что привычно рассовывать по конурам, по немым [но — зачеркнуто] психиатрическим больницам, но принято убирать с публичных площадей, из опасения заразить приличную публику, значило бы свернуть с прямой... дороги Достоевского и вновь вступить на путь ублюдничества, путь подсахаривания человека, путь мещанской литературы и мещанской публицистики. У Достоевского ко всему, что есть человек — нет запретов»³⁷. «И потому “жестокость” Достоевского — не случайность, не прихоть, не пряный анекдот. Она — ответ на онтологические противоречия человеческого существа, неустранимые ни благожелательностью проповедников божественной гармонии, ни упрямством социального реформаторства. Реален только человек. Но в человеке везде и всегда говорят и действуют стихийные силы. И формальным первоисточником жестокости Достоевского является его невыносимая для других острота зрения»³⁸.

Отстаивая право Достоевского (и любого другого человека) на беспартийность³⁹, анархист утверждал: «...есть реальный, единственный и

беспорный Достоевский, не похожий на безжизненные слепки его не в меру субъективных истолкователей»⁴⁰. Он не поддается идеологическим клише: «Мощь и искренность гения, умеющего выйти за рамки своей классовой природы, обращающегося к «человеку», «человечеству», будущим векам — торжествует над временем»⁴¹ (как, по словам Борового, в творчестве Данте, Шекспира, Гёте, Байрона, Пушкина)⁴². Боровой всегда чутко относился к историческим процессам и факторам. История для него — один из синонимов «Жизни», а рационализм антиисторичен, ибо отвергает спонтанность и разнообразие. Но в конце жизни мыслитель, напротив, акцентирует «внеисторическое» в человеке (вечное и личное), что было реакцией на тотальный историцизм и классовый подход, насждавшийся в СССР. Он резюмирует свою апологию Достоевского: «Враг политической и этической философии мещанства, величайший отрицатель буржуазной культуры, страстный проповедник братства и всечеловеческого единения — Достоевский, конечно, не может быть назван “реакционным” мыслителем»⁴³.

У Борового есть любимейшие образы Достоевского, ставшие частью его собственного художественно-философского мира. Это, прежде всего, Иван Карамазов⁴⁴ и «джентльмен с насмешливой физиономией» из «Записок из подполья» — образ вечного иррационального своеволия человека. К этому образу «джентльмена» Боровой обращается множество раз⁴⁵. Нередко Боровой называет «джентльмена» «анархистом» и «штирнерианцем», который, впрочем, может из одиночки стать группой бунтарей или даже бунтующим народом. Для Борового (как и для Камю) персонализм не означает одиночества и не исключает солидарности. В мемуарах он писал о зарождении в себе трагического чувства: «Просыпался “джентльмен” с “насмешливой”, “неблагородной” физиономией, и я был бессилён против его вопросов»⁴⁶.

Боровой сближает и «знакомит» Достоевского со своими любимыми мыслителями: Бакуниным, Герценом, Штирнером, Ницше и Бергсоном. Эти сближения позволяют ему лучше понять их мысли и выразить свои. Трагизм Герцена, его атака на «теорию прогресса» и мещанство, бунтарство Бакунина, интуитивизм и витализм Бергсона, мысли Ницше о «любви к дальнему», персонализм и критика «фетишизмов» у Штирнера находят явные созвучия в философии Достоевского. Помимо указанных, в книге есть немало эпизодических сравнений личности и мысли Достоевского: с Пушкиным, Шекспиром, Байроном, Кантом, Блоком, Шопенгауэром и др. Так, в смехе Достоевского Боровой находит и «онтологическую глубину Платона», и «ласку и примирение Сервантеса», и «площадное остроумие Шекспира», и «мизантропический бич Свифта», и «мучительную иронию Леопарди», и «сжигающий пламень Ницше», и «эстетствующий нигилизм Уайльда»⁴⁷.

Боровой, юрист по образованию, сводит на очной ставке все «за» и «против»: «Послушаем для образца свидетелей и обвинителей разных общественных формаций и политических лагерей», «теперь обратимся к свидетельским характеристикам»⁴⁸.

Структура книги такова. За предисловием следует «лирическое вступление» (о проблемах личности и жизни у Достоевского), глава о нем как

политическом мыслителе, главы о его отношении к «религиозной проблеме», национализму, самодержавию, народничеству, антисемитизму, насилию, анархизму, о его стиле, затем экскурсы: «Ставрогин и Бакунин», «Страхов и Достоевский», «Достоевский, Белинский и Тургенев».

Боровой обладал удивительным и редким даром: мыслить целостно и образно, связывая любой обсуждаемый вопрос со всеми остальными в их органическом единстве. Если, по Новалису, мысль есть остывшее чувство, то Боровой за любой мыслью ощущал чувство, согревающее и питающее ее. Он «объективен» как ученый, если под объективностью понимать честность, тонкость, следование фактам, полноту разбора вопросов. Но он совсем не «объективен», если под объективностью понимать равнодушие и безэмоциональность. Алексею Алексеевичу дороги вопросы Федора Михайловича, хотя не всегда дороги его ответы. Ему близок религиозный пафос писателя: «Мироощущение и мировоззрение Достоевского – религиозны», но «Религиозная система Достоевского – вне официальной церкви», ибо отрицает все авторитеты, кроме Христа. Для писателя, считал Боровой, Церковь «вырастает во вселенскую федерацию братств, федерацию, не знающую ни расовых, ни территориальных разделений, ни принудительных институтов мещанской государственности»⁴⁹. Для него «социализм», «либерализм», «анархизм» – не просто программы, но целые человеческие типы, системы ценностей и чувств. Боровой творчески развил критику мещанства и либерализма (как его политической проекции) Герценом и Достоевским, осмысливая современное ему, «советское» мещанство. В «Достоевском» он свел счеты с авторитарным социализмом и излил свою ненависть и презрение по адресу либеральных «людей золотой середины»⁵⁰.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Михайловский Н.К. Литературная критика и воспоминания. – М., 1995. С. 50, 53.

² Кропоткин П.А. Идеалы и действительность в русской литературе // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал. Сочинения. – М., 1999/ С. 433.

³ Рябов П.В. Философия Ф.М. Достоевского в интерпретации А.А. Борового (по архивным материалам) // Вестник Орловского государственного университета. Серия: новые гуманитарные исследования. 2012. № 4; Рябов П.В. Романтический анархизм Алексея Борового (из истории русской философии жизни) // Историко-философский ежегодник 2011. – М., 2013.

⁴ Боровой А.А. Моя жизнь. Воспоминания. Глава III. РГАЛИ. Ф.1023. Оп. 1. Д. 164. Л. 95 – 96.

⁵ Там же. Главы XVIII – XXV. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 170. Л. 38.

⁶ Там же. Глава XI. РГАЛИ, Ф. 1023. Оп. 1. Д. 168. Л. 173; главы XVIII – XXV. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 170. Л. 168, 378 – 379; главы XXVI – XXXI. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 171. Л. 85.

⁷ Там же. Глава I. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 162. Л. 18, 20.

⁸ Там же. Л. 23 – 26.

⁹ Боровой А.А. Дневник. 12 апреля 1928 – 22 января 1932. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 173. Л. 136 об. – 137.

¹⁰ Там же. Л. 146 – 147.

¹¹ Боровой А.А. Дневник. 30 января 1932 – 21 февраля 1933. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 174. Л. 6 об. – 15.

¹² См., например: Боровой А.А. Статьи времен Первой мировой войны в «Утре России». РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 68. Л. 97.

¹³ Боровой А.А. Достоевский. Книга. Последний вариант. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 113. Л. 30 об., 32 об. И в мемуарах: «...только мелкое злопыхательство, рабья ревность, слепота фанатика» видят «в Достоевском – идеолога самодержавия и православия» (Боровой А.А. Моя жизнь. Воспоминания. Глава I. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 162. Л. 26. О том же см.: Боровой А.А. Дневник. 20 января 1934 – 21 ноября 1935. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 177. Л. 39; Боровой А.А. Моя жизнь. Воспоминания. Черновые наброски и главы, исключенные автором из рукописи. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 172. Л. 45 об.

¹⁴ Боровой А.А. Разговоры о живом и мертвом. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 108. Л. 68 – 68 об.

¹⁵ Там же. Л. 82 об. – 83, 109, 140 – 141, 163, 165 – 165 об., 269 – 271, 272, 320, 329 – 339.

¹⁶ Боровой А.А. Моя жизнь. Воспоминания. Главы XXVI – XXXI. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 171. Л. 202.

¹⁷ Спор о Бакунине и Достоевском. Статьи Л.П. Гроссмана и Вяч. Полонского. – Л., 1926. Современный обзор этой бурной дискуссии см.: Goodwin J. Confronting Dostoevsky's Demons. Anarchism and the Specter of Bacunin in Twentieth-Century Russia. – N. Y., 2010.

¹⁸ Боровой А.А. Дневник. 12 апреля 1928 – 22 января 1932. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 173. Л. 149.

¹⁹ Боровой А.А. Дневник. 30 января 1932 – 21 февраля 1933. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 174. Л. 4.

²⁰ Боровой А., Отверженный Н. Миф о Бакунине. – М., 1925. С. 71 – 148; Боровой А.А. Достоевский. Книга. Последний вариант. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 113. Л. 311 – 349.

²¹ Отверженный Н. Штирнер и Достоевский. (С предисловием А. Борового). М., 1925

²² Предисловие приводится здесь почти полностью, с небольшим сокращением.

²³ Книга А. Борового «Достоевский» была уже заявлена в рубрике «Печатаются и в скором времени выйдут в свет» в «Голосах Труда» (см.: Крототкин П.А. Этика. Т. I. Пб.; М., 1922).

²⁴ Все обстоит не так однозначно, как представляет здесь Боровой. Конечно, он называл себя атеистом и оппонировал анархо-мистикам. Признание трансцендентного он, вслед за Штирнером, считал формой «фетишизма», а анархизм провозглашал последовательно антирелигиозной философией. Однако как романтик, пантеистически воспринимающий Жизнь, он не был чужд неосознанного стихийного мистицизма в своем мироощущении.

²⁵ Боровой А.А. Достоевский. Книга. Последний вариант. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 113. Л. 3.

²⁶ Боровой А.А. Дневник. 12 апреля 1928 – 22 января 1932. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 173. Л. 81., см. там же. Л. 87.

²⁷ Трагизм мироощущения, пронзительный персонализм и протест против «обобществления» личности роднят Борового с размышлениями как Достоевского, так и М. Унамуно и Ж.-П. Сартра. А осмысление им бунта Ивана Карамазова против бессмыслицы мира как истока человеческого достоинства напоминает идеи Камю (см., например: Боровой А.А. Достоевский. Книга. Последний вариант. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 113. Л. 21 – 23).

²⁸ Боровой А.А. Дневник. 30 января 1932 – 21 февраля 1933. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 174. Л. 24.

²⁹ Там же. Л. 55.

³⁰ Боровой А.А. Дневник. 29 января 1934 – 21 ноября 1935. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 177. Л. 63 об.

³¹ Боровой А.А. Достоевский. Книга. Последний вариант. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 113. Л. 20.

³² Он с грустью пишет о восприятии Достоевского: «...наименее известен он в кругах “революционеров”. Клеймо “реакционности” – оставило его творчество для революционной интеллигенции под спудом. Пролетарским массам он вовсе

неизвестен... В течение 3 или 4 лет, непосредственно после Октябрьской Революции, я, в связи с моими занятиями над Достоевским, систематически опрашивал учащуюся молодежь и известных мне “революционеров” – кто такое [так у автора. – П. Р.] Свидригайлов. Из 10 опрошенных 9 отзывались, что впервые слышат это имя. Между тем «Преступление и наказание» всегда принадлежало к числу наиболее читаемых романов Достоевского» (там же. Л. 30).

³³ *Боровой А.А.* Достоевский. Книга. Последний вариант. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 113. Л. 139.

³⁴ Там же. Л. 90 об., 94 об.

³⁵ Там же. Л. 58.

³⁶ Там же. Л. 70.

³⁷ Там же. Л. 53.

³⁸ Там же.

³⁹ Боровой гневно вопрошал: «Был ли Достоевский и мог ли бы быть, хоть один день, генералом? Мог ли он быть крупным чиновником? Когда он мог себе позволить роскошь продолжительного отдыха? Комфорт обстановки? Какой чин и звание могли остановить его сарказмы?.. Смерть его собрала у гроба всё, что было в тогдашнем Петербургском обществе – молодого, прогрессивного, протестующего» (там же. Л. 96).

⁴⁰ Там же. Л. 63 – 64 об. См. также: Л. 59, 83 об.

⁴¹ Там же. Л. 30.

⁴² Там же.

⁴³ Там же. Л. 175.

⁴⁴ 26 июня 1932 г. Боровой, как Карамазов, «заявляет бунт» в своем дневнике: «...памятуя о своем двойном рабстве – биологическом и социологическом [о старости и о ссылке. – П. Р.]... Но осанны пропеть не могу... Нет, практическая... эта мудрость не лезет в меня, мой практический разум отвергает ее, не признавая никаких поправочных коэффициентов – возраста, культуры, среды, поучительных примеров, обещания награды в бесклассовом рае и пр. и пр.» (*Боровой А.А.* Дневник. 30 января 1932 – 21 февраля 1933. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 174. Л. 31 – 31 об.). А в книге Борового читаем: «“Бунт” Карамазова есть апофеоз человеческого отрицания, апофеоз героического актуального пессимизма, предел истступлений человеческой диалектики против мира». (*Боровой А.А.* Достоевский. Книга. Последний вариант. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 113. Л. 23, 87).

⁴⁵ Там же. Л. 6 – 7, 8, 65, 73, 121 об., 164, 167 – 168. В дневнике см. записи 20 сентября и 26 октября 1933 г. (*Боровой А.А.* Дневник. 24 августа 1933 – 17 января 1934. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 176. Л. 14, 29). См. также в набросках к статьям: *Боровой А.А.* [Об анархизме]. Материалы к статьям. Заметки, выписки, конспекты. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 145. Л. 130. Пространное рассуждение о «джентльмене» см. в «Разговорах о живом и мертвом»: *Боровой А.А.* Разговоры о живом и мертвом. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 108. Л. 165 – 165 об. Этот фрагмент (с исправлениями) вошел в книгу «Достоевский» (см.: *Боровой А.А.* Достоевский. Книга. Последний вариант. РГАЛИ, Ф. 1023. Оп. 1. Д. 113. Л. 6 – 7).

⁴⁶ *Боровой А.А.* Моя жизнь. Воспоминания. Главы VI – X. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 167. Л. 19.

⁴⁷ См.: *Боровой А.А.* Достоевский. Книга. Последний вариант. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 113. Л. 5.

⁴⁸ Там же. Л. 30 об., 31.

⁴⁹ Там же. Л. 175 об., 177, 182.

⁵⁰ Яркую интегральную (социальную, психологическую и этическую) характеристику мещанства как исторического и внеисторического феномена см.: *Боровой А.А.* Достоевский. Книга. Последний вариант. РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 113. Л. 99 – 102.

Окончание следует